

Архипелаг ГУЛАГ. Книга 1

Автор:

Александр Солженицын

Архипелаг ГУЛАГ. Книга 1

Александр Исаевич Солженицын

Собрание сочинений в 30 томах #4

В 4-5-6-м томах Собрания сочинений печатается «Архипелаг ГУЛАГ» – всемирно известная эпопея, вскрывающая смысл и содержание репрессивной политики в СССР от ранне-советских ленинских лет до хрущёвских (1918–1956). Это художественное исследование, переведенное на десятки языков, показало с разительной ясностью весь дьявольский механизм уничтожения собственного народа. Книга основана на огромном фактическом материале, в том числе – на сотнях личных свидетельств. Прослеживается судьба жертвы: арест, мясорубка следствия, комедия «суда», приговор, смертная казнь, а для тех, кто избежал её, – годы непосильного, изнурительного труда; внутренняя жизнь заключённого – «душа и колючая проволока», быт в лагерях (исправительно-трудовых и каторжных), этапы с острова на остров Архипелага, лагерные восстания, ссылка, послелагерная воля.

В том 4-й вошли части Первая: «Тюремная промышленность» и Вторая: «Вечное движение».

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Александр Солженицын

Архипелаг ГУЛАГ

1918–1956

Опыт художественного исследования

Части I-II

посвящаю

всем, кому не хватило жизни

об этом рассказать.

и да простят они мне,

что я не всё увидел,

не всё вспомнил,

не обо всём догадался.

Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии Наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда – замёрзший древний поток, и в нём – замёрзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал учёный корреспондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы – сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего

мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени ээков, которое только и могло охотно съесть тритона.

А Колыма была – самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, – почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ ээков.

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую, страну, он врезался в её города, навис над её улицами – и всё ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали всё.

Но, будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание.

Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо ворошить прошлое!.. Кто старое помянет – тому глаз вон!» Однако доканчивает пословица: «А кто забудет – тому два!»

Идут десятилетия – и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда, – представятся неправдоподобным тритоном.

Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь – достанется ли?.. У тех, не желающих вспоминать, довольно уже было (и ещё будет) времени уничтожить все документы дочиста.

Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастливому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, – может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? – ещё, впрочем, живого мяса,

ещё, впрочем, живого тритона.

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий.

Люди и места названы их собственными именами.

Если названы инициалами, то по соображениям личным.

Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имён, – а всё было именно так.

Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага, – шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах —

[перечень 227 имён][1 - Этот (ещё расширенный) перечень свидетелей впервые оглашаю теперь. – Примеч. 2005 г.].

Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым.

Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтоб эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так что найти сохранённый экземпляр требовало большого упорства; ещё более – тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её.

Но не настала та пора, когда я посмею их назвать[2 - Рассказал уже и о них, моих Невидимках («Бодался телёнок с дубом». М.: Согласие, 1996). – Примеч. 2005 г.].

Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги. Однако полжизни, проведенных там (его лагерные мемуары так и

называются «Полжизни»), отдались ему преждевременным параличом. Уже с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всём будет рассказано.

А если долго ещё не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и передача этой книги будут большой опасностью – так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться – от тех, от погибших.

Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне не известны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967 мне постепенно стали известны «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и воспоминания Д. Витковского, Е. Гинзбург, О. Адамовой-Слиозберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения как на литературные факты, известные всем (так и будет же в конце концов).

Вопреки своим намерениям, в противоречии со своей волей дали безценный материал для этой книги, сохранили много важных фактов, и даже цифр, и сам воздух, которым дышали: чекист М. И. Лацис (Я. Ф. Судрабс); Н. В. Крыленко – главный государственный обвинитель многих лет; его наследник А. Я. Вышинский со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить И. Л. Авербах.

Материал для этой книги также представили тридцать шесть советских писателей во главе с Максимом Горьким – авторы позорной книги о Беломорканале, впервые в русской литературе восславившей рабский труд.

Свидетели архипелага,

чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой книги

Александрова Мария Борисовна

Алексеев Иван А.

Алексеев Иван Николаевич

Аничкова Наталья Мильевна

Бабич Александр Павлович

Бакст Михаил Абрамович

Баранов Александр Иванович

Баранович Марина Казимировна

Безродный Вячеслав

Белинков Аркадий Викторович

Бернштам Михаил Семёнович

Бернштейн Анс Фрицевич

Борисов Авенир Петрович

Братчиков Андрей Семёнович

Бреславская Анна

Бродовский М. И.

Бугаенко Наталья Ивановна

Бурковский Борис Васильевич

Бурнацев Михаил

Бутаков Авлим

Быков М. М.

Вайшнорас Юозас Томович

Васильев Владимир Александрович

Васильев Максим Васильевич

Ватрацков Л. В.

Вельяминов С. В.

Вендельштейн Юрий Германович

Венедиктова Галина Дмитриевна

Вербовский С. Б.

Вестеровская Анастасия

Виноградов Борис Михайлович

Винокуров Н. М.

Витковский Дмитрий Петрович

Власов Василий Григорьевич

Войченко Михаил Афанасьевич

Волков Олег Васильевич

Гарасёва Анна Михайловна

Гарасёва Татьяна Михайловна

Гер Р. М.

Герценберг Перец Моисеевич

Гершуни Владимир Львович

Гинзбург Вениамин Лазаревич

Глебов Алексей Глебович

Говорко Николай Каллистратович

Голицын Всеволод Петрович

Гольдовская Виктория Юльевна

Голядкин Андрей Дмитриевич

Голядкина Елена Михайловна

Горшунов Владимир Сергеевич

Григорьев Григорий Иванович

Григорьева Анна Григорьевна

Гродзенский Яков Давыдович

Деева А.

Джигурда Анна Яковлевна

Диклер Франк

Добряк Иван Дмитриевич

Долган Александр Майкл

Дояренко Евгения Алексеевна

Елистратова Любовь Семёновна

Ермолов Юрий Константинович

Есенин-Вольпин Александр Сергеевич

Ефимова-Овсиенко

Жебеленко Николай Петрович

Жуков Виктор Иванович

Заболовский Ефим Яковлевич

Задорный Владилен

Зарин В. М.

Зведре Ольга Юрьевна

Зданюкевич Александр Климентьевич

Зобунков

Зубов Николай Иванович

Зубова Елена Александровна

Ивакин Василий Алексеевич

Иванов Вячеслав Всеволодович

Ивашёв-Мусатов Сергей Михайлович

Инчик Вера

Кавешан В. Я.

Каган Виктор Кусиэлевич

Кадацкая Мария Венедиктовна

Каденко

Калганов Александр

Калинина М. И.

Каллистов Дмитрий Павлович

Каминов Игорь

Каминский Юрий Фёдорович

Карбе Юрий Васильевич

Карпунич (Карпунич-Бравен) Иван Семёнович

Картель Илья Алексеевич

Касьянов Александр

Каупуж Анна Владиславовна

Keушeв Николай Львович

Киула Константин

Княгинин Вячеслав Ильич

Ковач Роза

Козак Ольга Петровна

Козаков Виктор Сергеевич

Козырев Николай Александрович

Колокольнев Иван Кузьмич

Колпаков Алексей Павлович

Колпаков С.

Комогор Леонид Александрович

Кононенко Марк Иванович

Кончиц Андрей Андреевич

Копелев Лев Зиновьевич

Корнеев Иван Алексеевич

Корнеева Вера Алексеевна

Кравченко Наталья Ивановна

Кузнецова К. И.

Ладыженская Ольга Александровна

Лазутина Раиса Александровна

Ларина Анна Михайловна

Левин Меер Овсеевич

Левитская Надежда Григорьевна

Лесовик Светлана Александровна

Лиленков И.

Липай И. Ф.

Липшиц Самуил Адольфович

Лихачёв Дмитрий Сергеевич

Лобанов

Лоцилин Степан Васильевич

Лукьянов В. В.

Лунин

Макеев Алексей Филиппович

Маковоз Григорий Самойлович

Малявко-Высоцкая Нина Константиновна

Маркелов Даниил Ильич

Мартынюк Павло Романович

Матвеева С. П.

Межова Изабелла Адольфовна

Мейке Виктор Александрович

Мейке Ирина Емельяновна

Милючихин Валентин Егорович

Митрович Георгий Степанович

Нагель Ирина Анатольевна

Недов Леонид Иванович

Некрасов Николай Алексеевич

Никитин Вячеслав

Никитин Иван Иванович

Никитина Ксения Ивановна

Никляс Анна

Оленёв Александр Яковлевич

Олицкая Екатерина Львовна

Олухов Пётр Алексеевич

Орлова Елена Михайловна

Орловский Эрнст Семёнович

Острецова Александра Ивановна

Павлов Борис Александрович

Павлов Гелий Владимирович

Пашина Елена Анатольевна

Перегуд Нина Фёдоровна

Петров Александр Александрович

Петропавловский Алексей Николаевич

Пикалов Пётр

Пинхасик М. Г.

Писарев И. Г.

Пичугин В.

Пластар Валентин Петрович

Полев Геннадий Фёдорович

Политова Н. Н.

Польский Леонид Николаевич

Попков А.

Поспелов В. В.

Постоева Наталья Ивановна

Пося Пётр Никитич

Потапов Михаил Яковлевич

Потапов Сергей

Пронман Измаил Маркович

Прохоров-Пустовер

Прыткова Тамара Александровна

Птицын Пётр Николаевич

Пунич Иван Аристаулович

Пупышев Иван Алексеевич

Радонский

Раппопорт Арнольд Львович

Ретц Роланд Вильгельмович

Реут С.

Рожаш Янош

Романов Александр Дмитриевич

Рочев Степан Игнатъевич

Рубайло Александр Трофимович

Рудина Виктория Александровна

Рудинский (Петров) В.

Рудковский С. М.

Руднев

Рябинин Н. И.

Самшель Нина

Сачкова Екатерина Фёдоровна

Сговио Томас Иосифович

Седова Светлана Борисовна

Семёнов Николай Андреевич

Семёнов Николай Яковлевич

Сергиенко Тамара Сергеевна

Синебрюхов Фёдор Александрович

Сипягина Людмила Алексеевна

Скачинский Александр Сергеевич

Скрипникова Анна Петровна

Смелов Павел Георгиевич

Снегирёв Владимир Николаевич

Соломин Илья Матвеевич

Сорокин Геннадий Александрович

Статников Анатолий Матусович

Степовой Александр Филиппович

Столярова Наталья Ивановна

Стотик Александр Михайлович

Страхович Елена Викторовна

Страхович Константин Иванович

Струтинская Елена

Сузи Арно

Сузи Арнольд Юханович

Сузи Хели

Сумберг Мария

Суровцева Надежда Витальевна

Сусалов Рафаил Израилевич

Сухомлина Татьяна Ивановна

Сучков Федот Федотович

Сущихин Сергей Фёдорович

Табатеров Илья Данилович

Тарашкевич Георгий Матвеевич

Тарновский В. П.

Твардовский Константин Трифонович

Терентьева Л. Я.

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович

Тихонов Павел Гаврилович

Токмаков Мстислав Владимирович

Трофимов Владимир

Тусэ Х. С.

Тхоржевский Сергей Сергеевич

Тэнно Георгий Павлович

Улановская Надежда Марковна

Улановский Алексей Петрович

Улащик Ольга Николаевна

Фадеев Ю. И.

Фаликс Татьяна Моисеевна

Филиппова Галина Петровна

Формаков Арсений Иванович

Фурфанский Т. Е.

Хлебунов Николай Николаевич

Хлодовский Всеволод Владимирович

Храбровицкий Александр Вениаминович

Цивилько Адольф Мечеславович

Чавдаров Д. Г.

Чавчавадзе Ольга Ивановна

Чеботарёв Сергей Андреевич

Четверухин Серафим Ильич

Чульпенёв Павел Васильевич

Шавирин Ф. В.

Шаламов Варлам Тихонович

Шаталов Василий Архипович

Швед Иван Васильевич

Шелгунов Александр Васильевич

Шефнер Виктор Викентьевич

Шиповальников Виктор Георгиевич

Щербаков Валерий Ф.

Эфроимсон Владимир Павлович

Юдина Мария Вениаминовна

Юнг Павел Густавович

Якубович Михаил Петрович

Часть первая

Тюремная промышленность

В эпоху диктатуры и окружённые со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность.

Крыленко,

речь на процессе «Промпартии»

Глава 1

Арест

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда – но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет.

Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять, – попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять, – призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно – через арест.

Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас – центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: «Вы арестованы!»

Если уж вы арестованы – то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изошрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо всего опыта жизни выдать что-нибудь иное, кроме как:

– Я?? За что?!? – вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест – это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов – гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались – что? за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть – а там-то и начинается – страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! – и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белые мужские руки, не привыкшие к труду, но схватчивые, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо – вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы – арестованы!

И нич-ч-чего вы не находите на это ответить, кроме ягнячьего блянья:

– Я-а?? За что??..

Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим.

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это – резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это – бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это – за спинами их

напуганный прибитый понятой. (А зачем этот понятой? – думать не смеют жертвы, не помнят оперативники, но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука: ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых.)

Традиционный арест – это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что? надо, что? можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят – для страху.)

Традиционный арест – это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это – взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вы тряхивание, рассыпание, разрывание – и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком. Юристы выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вы тряхируют больных из постели, и разбинтовывают повязки[3 - Когда в 1937 громили институт доктора Казакова, то сосуды с лизатами, изобретенными им, «комиссия» разбивала, хотя вокруг прыгали исцелённые и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. (По официальной версии, лизаты считались ядами – и отчего ж было не сохранить их как вещественные доказательства?)]. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У любителя старины Четверухина захватили «столько-то листов царских указов» – именно указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствие против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному Ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь – и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: ищут, чего не клали.

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного – как Нина Александровна Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа, великого инженера России – в пасть к ним, навсегда, без возврата.

А для оставшихся после ареста – долгий хвост развороченной опустошённой жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами: «такой не числится», «такого нет!» Да к окошку этому в худые дни Ленинграда ещё надо пять суток толпиться в очереди. И только может быть через полгода-год сам арестованный аукнется или выбросят: «Без права переписки». А это уже значит – навсегда. «Без права переписки» – это почти наверняка: расстрелян.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, недостегнувшего брюк; за время сборов и обыска наверняка не соберётся у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью и в четвёртую, даёт возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют.

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, – днём шагает молодое племя со знаменами и цветами и поёт неомрачённые песни.

Но у берущих, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них – большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание – это важный раздел курса общего тюрьмоведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые;

первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её... прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокоую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой-то молодой фронт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: Органы не заплатят ему) – то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с запахом дорогого одеколona, покупает торт для девушки – не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдьи. Однако он исполняется чисто и – вот удивительно! – сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый злоумен, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки – от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников: он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь

безвестный смертный, замерший от повальных арестов и уже неделю угнетённый исподлобными взглядами начальства, – вдруг вызван в местком, где ему, сияя, преподносят путёвку в сочинский санаторий. Кролик прочувствовался – значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он, ликуя, спешит домой собирать чемодан. До поезда два часа, он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал! Ещё есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек: «Вы не узнаете меня, Пётр Иванович?» Пётр Иванович в затруднении: «Как будто нет, хотя...» Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением: «Ну как же, как же, я вам напомню...» и почтительно кланяется жене Петра Ивановича: «Вы простите, ваш супруг через одну минутку...» Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Ивановича доверительно под руку – навсегда или на десять лет!

А вокзал снуёт вокруг – и ничего не замечает... Граждане, любящие путешествовать! Не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.

Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки от неё как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы – сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас не могут арестовать среди бела дня на улице Горького близ Центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув грабастые руки: «Са-ша! – не таится, а просто кричит он. – Керюха! Сколько лет, сколько зим?!.. Ну, отойдём в сторонку, чтоб людям не мешать». А в сторонке-то, у края тротуара, как раз «победа» подъехала... (Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Долгана.) Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе (так взят Жора Бледнов), не то что в Москве.

Надо воздать Органам заслуженное: в век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера, – аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском, – и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Берн штейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н. М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) – и еле живого, в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью,

вам дают его! – а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор – все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение.

Иногда аресты кажутся даже игрой – столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки – и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору.)

Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные налитые 1945–46 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ, – уже не было этой избыточной игры, сама теория сильно полиняла, облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков тысяч как убогая переключка: стояли со списками, из одного эшелона выкликали, в другой сажали, и вот это был весь арест.

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьёй, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером, – даже тогда они почти не бежали (а в редких случаях кончали с собой). Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Это происходило ещё от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора – какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приёмную новочеркасского НКВД пришла

женщина спросить: как быть с некормленным сосунком-ребёнком её арестованной соседки. «Посидите, – сказали ей, – выясним». Она посидела часа два – её взяли из приёмной и отвели в камеру: надо было срочно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу, а эта уже была здесь! Наоборот, к латышу Андрею Павлу под Оршей пришло НКВД его арестовать; он же, не открывая двери, выскочил в окно, успел убежать и напрямик уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он – из Орши, он никогда не был посажен, ни вызван в Органы, ни подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска: всесоюзный, республиканский и областной, и почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу, и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать, ещё до первого допроса, – никогда не ловились и не привлекались; а те, кто оставались дожидаться справедливости, – получали срок. И почти все, подавляюще, держались именно так: малодушно, беспомощно, обречённо.

Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляло оформить оставшихся вместо бежавшего.

Всеобщая невинность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и не возьмут? Может, обойдётся? А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого-то передал: «Александр Иванович, уезжай, ты в списках!» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся – как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму.

Сейчас сидит папа, а вырасту я – и меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен – то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся – выпустят!» Других сажают повально, это тоже нелепо, но там ещё в каждом случае остаются потёмки: «а может быть, этот как раз...?» А уж ты! – ты-то наверняка невиновен! Ты ещё рассматриваешь Органы как учреждение человечески логичное: разберутся – выпустят.

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться – ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

И потом – чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков – и ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить (когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса: «за что?!»), – а все-то вместе эти околичности неминуемо и складываются в арест.

Да мало ли что бывает на душе у свежearестованного! – ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в её постели, в её комод с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут.

И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, – и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильнее, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1949 году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги.

Иногда главное чувство арестованного – облегчение и даже... радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят – ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Василий Власов, безстрашный коммунист, которого мы ещё помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему безпартийными его помощниками, изнемогал оттого, что всё руководство Кадыйского района арестовали (1937), а его всё не брали, всё не брали. Он мог принять удар только лбом – принял его и успокоился, и первые дни ареста чувствовал себя великолепно. – Священник отец Иеракс (Бочаров) в 1934 поехал в Алма-Ату навестить ссыльных верующих, а тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой, 8 лет перепрыгивали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что, когда его в 1943 всё-таки арестовали, – он радостно пел Богу хвалу.

В этой главе мы всё говорим о массе, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придётся нам в книге ещё коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно политическим. Вера Рыбакова, студентка социал-демократка, на воле мечтала о Суздальском изоляторе: только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами (на воле их уже не оставалось) и там выработать своё мировоззрение. Эсерка Екатерина Олицкая в 1924 даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму: ведь её прошли лучшие люди России, а она ещё молода и ещё ничего для России не сделала. Но и воля уже изгоняла её из себя. Так обе они шли в тюрьму – с гордостью и радостью.

«Сопrotивление! Где же было ваше сопротивление?» – бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста.

Не началось.

* * *

И вот – вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас – неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами, – ведут сквозь толпу между

сотнями таких же невинных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы кричать! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши оцетинились бы? может, аресты не стали бы так легки!?

В 1927, когда покорность ещё не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днём два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. (Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа! Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо!) Расторопные эти ребята сразу смутились. Они не могут работать при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. (И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать! А она пошла ночевать домой. И ночью отвезли её на Лубянку.)

Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа безпечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы – добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь под предлогом конвоирования меня отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения – улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не

выпускают назад; в неотклонимости десятки), – я чудом вырвался вдруг и вот уже четыре дня еду как вольный и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды – почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы – но может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока – но может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск – но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону – но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская»-радиальная, он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания – тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины – так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смиренного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках.

А я – я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало – мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек – а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади...

* * *

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, – и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, – и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

– Вы – арестованы!!

И, обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

– Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно – я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу – раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне – да! через этот глухой обруб между оставшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту,

через которую уже ни звука не смело просочиться, – перешли немислимые, сказочные слова комбрига:

– Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось – стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из мешка, где оставался его огне вой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею – и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

– У вас... – веско спросил он, – есть друг на Первом Украинском фронте?

– Нельзя!.. Вы не имеете права! – закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы – и готовясь дать на комбрига материал). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал безстрашно, отдельно:

– Желаю вам – счастья – капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья – врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что этого не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под

колпаком устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти[4 - И вот удивительно: человеком всё-таки можно быть! – Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он – генерал в отставке и ревизор в Союзе охотников.]

* * *

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались) и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину – троим лежать тесно, а четверым – впритыску. Я как раз был четвёртым, втолкнул уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклиниваться. Так на истолчённой сололке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы – и началось знакомство.

– А ты за что?

Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился:

– Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

Однако сокамерники мои – танкисты в чёрных мягких шлемах – не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца – род людей, к которым я

привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна были следы свинченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках – память ранений и ожогов. Их дивизион, на беду, пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохопослушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья-нибудь, а – начальника контрразведки армии.

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали: окажись девушки немки – их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки – их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по ого роду и хлопать по ляжкам – забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно-полевая жена» начальника контр разведки – с трёх боевых офицеров какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, – и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни.

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла всё, чем нам тут дышать. В двери был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой свет коридора. Будто безпокаясь, что с наступлением дня нам в карцере станет слишком просторно, к нам тут же подкинули пятого. Он вшагнул в новенькой красноармейской шинели, шапке тоже новой и, когда стал против волчка, явил нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку.

– Откуда, брат? Кто такой?

– С той стороны, – бойко ответил он. – Шпиён.

– Шутишь? – обомлели мы. (Чтобы шпион, и сам об этом говорил – так никогда не писали Шейнин и братья Тур!)

– Какие могут быть шутки в военное время! – рассудительно вздохнул паренёк. – А как из плена домой вернуться? – ну научите.

Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, – вдруг новые впечатления ворвались к нам:

– На оправку! Руки назад! – звал через распахнувшуюся дверь старшина-лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки.

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчиков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодования, что какой-то невежа-старшина смел командовать нам, офицерам, «руки назад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед.

За сараем был маленький квадратный загон с ещё не стаявшим утоптанном снегом – и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и густо по всей площади, что нелегка была задача – найти, где бы поставить две ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а старшина, не прошло минуты, резко понукал:

– Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются!

Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен.

– Где это – у вас? – тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином.

– В контрразведке СМЕРШ! – гордо и звончей чем требовалось отрубил старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное – из «смерть шпионам» – слово. Они находили его пугающим.)

– А у нас – медленно, – раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбилась назад, обнажая на голове ещё не состриженные волосы. Его одубелая фронтальная задница была подставлена приятному холодному ветерку.

– Где это – у вас? – громче чем нужно гавкнул старшина.

– В Красной армии, – очень спокойно ответил старший лейтенант с корточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного.

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.

Глава 2

История нашей канализации

Когда теперь бранят произвол культа, то упираются всё снова и снова в настрывшие 1937–38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 37–38-м.

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: поток 37–38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, – одним из трёх самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации.

До него был поток 29–30-го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболее). Но мужики – народ безсловесный, безписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили – довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелей.

И после был поток 44–46-го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и ещё миллионы и миллионы – побывавших (из-за нас же!) в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. (Это Сталин прижигал раны, чтоб они поскорей заструпились и не стало бы надо всему народному телу отдохнуть, раздышаться, подправиться.) Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.

А поток 37-го года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них много пораненных осталось в городах, и сколько с пером! – и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя!

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» – он только плечами пожмёт. А Ленин граду что? тридцать седьмой, когда прежде был тридцать пятый? А повторникам или прибалтам не тяжче был 48–49-й? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются.

Известно, что всякий орган без упражнения отмирает.

Итак, если мы знаем, что Органы (этим гадким словом они назвали себя сами), воспетые и приподнятые надо всем живущим, не отмирали ни единым щупальцем, но, напротив, наращивали их и крепили мускулатурой, – легко догадаться, что они упражнялись постоянно.

По трубам была пульсация – напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча – в которые были выжаты мы – хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись меженьями и опять половодьями, потоки сливались то большие, то меньшие, ещё со всех сторон текли ручейки, ручеёчки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки.

Приводимый дальше повременной перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков, – очень ещё не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое. Тут потребуется много дополнений от людей знающих и оставшихся

В ЖИВЫХ.

* * *

В этом перечне труднее всего начать. И потому, что чем глубже в десятилетия, тем меньше осталось свидетелей, молва загасла и затемнилась, а летописей нет или под замком. И потому, что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения (Гражданская война), и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердие.

Но ещё и до всякой Гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришёлся по кадетам (при царе – крайняя зараза революции, при власти пролетариата – крайняя зараза реакции). В конце ноября 1917, в первый несостоявшийся срок созыва Учредительного Собрания, партия кадетов была объявлена вне закона и начались аресты их. Около того же времени проведены посадки «Союза защиты Учредительного Собрания» и системы «солдатских университетов».

По смыслу и духу революции легко догадаться, что в эти месяцы наполнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы – крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офицерами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не выполняющими распоряжений новой власти. Одна из первых операций ЧК – арест стачечного комитета Всероссийского союза служащих. Один из первых циркуляров НКВД, декабрь 1917: «Ввиду саботажа чиновников... проявить максимум самодеятельности на местах, не отказываясь от конфискации, принуждения и арестов»[5 - Вестник Отдела местного управления Комиссариата внутренних дел: Журн. ВЦИК. М., 1917, № 1, с. 4.].

И хотя В. И. Ленин в конце 1917 для установления «строго революционного порядка» требовал «безпощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц»[6 - В. И. Ленин. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М.: Гос. изд-во политич. лит., 1958–1965. Т. 35, с. 68.], то есть главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где-то там в третьем ряду, – однако он же ставил задачу и шире. В статье «Как организовать соревнование» (7–10 января 1918) В. И. Ленин провозгласил общую единую цель «очистки земли российской

от всяких вредных насекомых». И под насекомыми он понимал не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы», например наборщиков питерских партийных типографий. (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став диктаторами, тут же склонились отлынивать от работы на себя самих.) А ещё: «...в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне... нет... саботажников, называющих себя интеллигентами?»[7 - Там же, с. 204.] Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут жёлтые билеты», где расстреляют тунеядца; тут на выбор – тюрьма «или наказание на принудительных работах тягчайшего вида»[8 - Там же, с. 203.]. Хотя, усматривая и подсказывая основные направления кары, Владимир Ильич предлагал нахождение лучших мер очистки сделать объектом соревнования «коммун и общин».

Кто попадал под это широкое определение насекомых, нам сейчас не исследовать в полноте: слишком неединообразно было российское население и встречались среди него обособленные, совсем ненужные, а теперь и забытые малые группы. Насекомыми были, конечно, земцы. Насекомыми были кооператоры. Все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Сплошь насекомые обседали церковные приходские советы, насекомые пели в церковных хорах. Насекомыми были все священники, а тем более – все монахи и монахини. Но и те толстовцы, которые, поступая на советскую службу или, скажем, на железную дорогу, не давали обязательной письменной присяги защищать советскую власть с оружием в руках, – также выявляли себя как насекомые (и мы ещё увидим случаи суда над ними). К слову пришлось железные дороги – так вот очень много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо было выдёргивать, а кого и шлёпать. А те легграфисты, те почему-то в массе своей были заядлые насекомые, несочувственные к Советам. Не скажешь доброго и о ВИКЖЕЛе, и о других профсоюзах, часто переполненных насекомыми, враждебными рабочему классу.

Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число – на несколько лет очистительной работы.

А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых ещё Пётр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому Режиму?

И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да ещё в условиях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: внесудебную расправу, и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК – Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения.

В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения. Там и сям колоколили набаты, и православные бежали, кто и с палками. Естественно, приходилось кого расходовать на месте, а кого арестовывать.

Размышляя теперь над 1918–20 годами, затрудняемся мы: относить ли к тюремным потокам всех тех, кого расшлѐпали, не доведя до тюремной камеры? И в какую графу всех тех, кого комбеды убирали за крылечком сельсовета или на дворовых задах? Успевали ли стать хоть ногою на землю Архипелага участники заговоров, раскрывавшихся гроздьями, каждая губерния свой (два рязанских, костромской, вышневолоцкий, велижский, несколько киевских, несколько московских, саратовский, черниговский, астраханский, селигерский, смоленский, бобруйский, тамбовский кавалерийский, чембарский, великолукский, мстиславльский и другие) или не успевали и потому не относятся к предмету нашего исследования? Минуя подавление знаменитых мятежей (Ярославский, Муромский, Рыбинский, Арзамасский), мы некоторые события знаем только по одному названию – например, Колпинский расстрел в июне 1918 – что? это? кого это?.. И куда записывать?

Немалая трудность и решить: сюда ли, в тюремные потоки, или в баланс Гражданской войны отнести десятки тысяч заложников, этих ни в чём лично не обвинённых и даже карандашом по фамилиям не переписанных мирных жителей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей массе? После 30.8.1918 НКВД дал указания на места «немедленно арестовать всех правых эсеров, а из буржуазии и офицерства взять значительное количество заложников»[9 - Вестник НКВД: Журн. ВЦИК. М., 1918, № 21–22, с. 1.]. (Ну, как если бы, например, после покушения группы Александра Ульянова была бы арестована не она только, но и все студенты в России и значительное количество земцев.) Это так открыто и объяснялось (Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 1918): «Мы не ведём войны против отдельных лиц.

Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и сущность красного террора». Постановлением Совета Обороны от 15.2.1919 – очевидно, под председательством Ленина? – предложено ЧК и НКВД брать заложниками крестьян тех местностей, где расчистка снега с железнодорожных путей «производится не вполне удовлетворительно», – с тем, что, «если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны»[10 - Декреты советской власти. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1968, с. 627.]. Постановлением СНК конца 1920 разрешено брать заложниками и социал-демократов.

Но, даже узко следя лишь за обычными арестами, мы должны отметить, что уже с весны 1918 полился многолетний непрерываемый поток изменников-социалистов. Все эти партии – эсеров, меньшевиков, анархистов, народных социалистов, они десятилетиями только притворялись революционерами, только носили личину – и на каторгу для этого шли, всё притворялись. И лишь в порывистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-предателей. Естественно же было приступить к их арестам! Вскоре за кадетами, за разгоном Учредительного Собрания, обезоружением Преображенского и других полков стали брать помалу, сперва потихоньку, и эсеров с меньшевиками. С 14 июня 1918, дня исключения их из всех советов, эти аресты пошли гуще и дружнее. С 6 июля – туда же погнали и левых эсеров, коварнее и дольше притворявшихся союзниками единственной последовательной партии пролетариата. С тех пор достаточно было на любом заводе или в любом городке рабочего волнения, недовольства, забастовки (их много было уже летом 1918, а в марте 1921 они сотрясли Петроград, Москву, потом Кронштадт и вынудили НЭП), чтобы одновременно с успокоением, уступками, удовлетворением справедливых требований рабочих – ЧК неслышно бы выхватывало ночами меньшевиков и эсеров как истинных виновников этих волнений. Летом 1918, в апреле и октябре 1919 густо сажали анархистов. В 1919 была посажена вся досягаемая часть эсеровского ЦК – и досидела в Бутырках до своего процесса в 1922. В том же 1919 видный чекист Лацис писал о меньшевиках: «Такие люди нам больше, чем мешают. Вот почему мы убираем их с дороги, чтобы не путались под ногами... Мы их сажаем в укромное местечко, в Бутырки, и заставляем отсиживаться, пока не кончится борьба труда с капиталом»[11 - М. И. Лацис (Я. Ф. Судрабс). Два года борьбы на внутреннем фронте: Популярный обзор двухгодичной деятельности чрезвычайной комиссии

по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. М.: Гос. изд-во, 1920, с. 61. – (Речи и беседы агитатора, № 9.)]. В июле 1918 безпартийный рабочий съезд весь арестован отрядом латышской охраны Кремля, и в Таганке едва не перестреляны все тотчас.

Уже в 1919 году была понята и вся подозрительность наших русских, возвращающихся из-за границы (зачем? с каким заданием?), – и так сажались приезжавшие офицеры экспедиционного (во Франции) русского корпуса.

В 19-м же году с широким замётом вокруг истинных и псевдозаговоров («Национальный Центр», Военный Заговор) в Москве, в Петрограде и в других городах расстреливали по спискам (то есть брали вольных сразу для расстрела) и просто гребли в тюрьму интеллигенцию, так называемую околкадетскую. А что значит «околкадетская»? Не монархическая и не социалистическая, то есть: все научные круги, все университетские, все художественные, литературные да и вся инженерия. Кроме крайних писателей, кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80 % её, и была «околкадетской». Сюда, по мнению Ленина, относился, на пример, Короленко – «жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками», «таким “талантам” не грех посидеть недельки в тюрьме»[12 - В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 51, с. 48.]. Об отдельных арестованных группах мы узнаём из протестов Горького. 15.9.1919 Ильич отвечает ему: «...для нас ясно, что и тут ошибки были»[13 - Там же, с. 47.], но – «Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!»[14 - Там же, с. 48.] – и советует Горькому не «тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов»[15 - Там же, с. 49.].

С января 1919 года расширена подразвёрстка и для сбора её составляются продотряды. Они встретили повсюдное сопротивление деревни – то упрямо-уклончивое, то бурное. Подавление этого противодействия тоже дало (не считая расстрелянных на месте) обильный поток арестованных в течение двух лет.

Мы сознательно обходим здесь всю ту большую часть помола ЧК, Особотделов и Реввоен трибуналов, которая связана была с продвижением линии фронта, с занятием городов и областей. Та же директива НКВД от 30.8.1918 направляла усилия «к безусловному расстрелу всех замешанных в белогвардейской работе». Но иногда теряешься: как правильно разграничивать? Если с лета 1920 года, когда Гражданская война ещё не вся и не всюду кончена, но на Дону уже кончена, оттуда, из Ростова и Новочеркасска, во множестве отправляют офицеров в Архангельск, а дальше баржами на Соловки (и несколько барж

потоплено в Белом море – как, впрочем, и в Каспийском) – то относить ли это всё ещё к Гражданской войне или к началу мирного строительства? Если в том же году в Новочеркасске расстреливают беременную офицерскую жену за укрытие мужа, то по какому разряду её списывать?

В мае 1920 года известно постановление ЦК «О подрывной деятельности в тылу». Из опыта мы знаем, что всякое такое постановление есть импульс к новому всеместному потоку арестантов, есть внешний знак потока.

Особой трудностью (но и особым достоинством!) в организации этих всех потоков было до 1922 года отсутствие Уголовного кодекса, какой-либо системы уголовных законов. Одно лишь революционное правосознание (но всегда безошибочно!) руководило изымателями и канализаторами: кого брать и что с ними делать.

В этом обзоре не будут прослеживаться потоки уголовников и бытовиков, и поэтому только напомним, что всеобщие бедствия и недостатки при перестройке администрации, учреждений и всех законов лишь могли сильно увеличить число краж, разбойных нападений, насилий, взяток и перепродаж (спекуляций). Хотя и не столь опасные существованию Республики, эти уголовные преступления тоже частично преследовались и своими арестантскими потоками увеличивали потоки контрреволюционеров. А была спекуляция и совершенно политического характера, как указывал декрет Сов наркома за подписью Ленина от 22.7.1918: «...виновные в сбыте, скупке или хранении для сбыта в виде промысла продуктов питания, монополизированных Республикой (крестьянин хранит хлеб – для сбыта в виде промысла, а какой же его промысел?? – А. С.)...лишение свободы на срок не менее 10 лет, соединённое с тягчайшими принудительными работами и конфискацией всего имущества».

С того лета черезильно напрягшаяся деревня год за годом отдавала урожай безвозмездно. Это вызывало крестьянские восстания, а стало быть, подавление их и новые аресты. («Самая трудолюбивая часть народа положительно искоренялась», – Короленко, письмо Горькому от 10.8.1921.) В 1920 году мы знаем (не знаем...) процесс «Сибирского Крестьянского Союза». В конце 1920 происходит предварительный разгром тамбовского крестьянского восстания, руководимого Союзом Трудового Крестьянства (как и в Сибири). Тут судебного процесса не было...

Но главная доля людских изъятий из тамбовских деревень приходится на июнь 1921 года. По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря для семей крестьян, участвующих в восстании. Куски открытого поля обтягивались столбами с колючей проволокой, и три недели там держали каждую семью, заподозренную в том, что мужчина из неё – в восстании. Если за три недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, – семью ссылали[16 - М. Тухачевский. Борьба с контрреволюционными восстаниями // Война и революция. М.: Война и техника, 1926. Кн. 8, с. 10, 11.].

Ещё ранее, в марте 1921, на острова Архипелага через Трубецкой бастион Петропавловской крепости отправлены были, за вычетом расстрелянных, матросы восставшего Кронштадта.

Тот 1921 год начался с приказа ВЧК № 10 (от 8.1.1921): «в отношении буржуазии репрессии усилить»! Теперь, когда кончилась Гражданская война, не ослабить репрессии, но усилить! Как это выглядело в Крыму, сохранил нам Волошин в некоторых стихах.

Летом 1921 был арестован Общественный Комитет Содействия Голодающим (Кускова, Прокопович, Кишкин и др.), пытавшийся остановить продвижение небывалого голода на Россию. Дело в том, что эти кормящие руки были не те руки, которым можно было разрешить кормить голодных. Пощажённый председатель этого Комитета умирающий Короленко назвал разгром комитета – «худшим из политиканств, правительственным политиканством» (письмо Горькому от 14.9.1921). (И Короленко же напоминает нам важную особенность тюрьмы 1921 года – «она вся пропитана тифом». Так подтверждает Скрипникова и другие, сидевшие тогда.)

В том 1921 году уже практиковались и аресты студентов (например, Тимирязевская Академия, группа Е. Дояренко) за «критику порядков» (не публичную, но в разговорах между собой). Таких случаев было ещё, видимо, немного, потому что указанную группу допрашивали сами Менжинский и Ягода.

Но и не так мало. Чем же, как не арестами, могла кончиться не ожидавшая смелая забастовка студентов МВТУ весной 1921? С годов лютой столыпинской реакции в этом училище была традиция, что ректор его выбирался из своих же профессоров. Таков и был профессор Калинин (мы его ещё встретим на скамье подсудимых), революционная власть прислала вместо него какого-то серенького инженера. Это было в разгар экзаменационной сессии. Студенты

отказались сдавать экзамены, собрались на бурлящую сходку во дворе, отвергли присланного ректора и потребовали сохранить статут самоуправления училища. А потом вся сходка отправилась пешком на Моховую для товарищеской встречи со студентами Университета. – Вот и загадка: что же делать власти? Загадка, да не для коммунистов. В царское время забурлила бы вся благородная печать, весь образованный мир: долой правительство, долой царя! А теперь – записали ораторов, дали сходке разойтись, прекратили экзаменационную сессию, а в летние каникулы по одному в разных местах взяли всех, кого надо. Другие так и не получили инженерного образования.

В том же 1921 расширились и унаправились аресты социалистических инопартийцев. Уже, собственно, покончили все политические партии России, кроме победившей. (О, не рой другому яму!) А чтобы распад партий был необратим – надо было ещё, чтобы распались и сами члены этих партий, тела этих членов.

Ни один гражданин российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большевики, уже судьбы своей не избежал, он был обречён (если не успевал, как Майский или Вышинский, по доскам крушения перебежать в коммунисты). Он мог быть арестован не в первую очередь, он мог дожить (по степени своей опасности) до 1922, до 32-го или даже до 37-го года, но списки хранились, очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали и задавали единственный вопрос: состоял ли он... от... до...? (Бывали вопросы и о его враждебной деятельности, но первый вопрос решал всё, как это ясно нам теперь через десятилетия.) Дальше разная могла быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов (счастливым образом централы все хорошо сохранились, и некоторые социалисты попадали даже в те самые камеры и к тем же надзирателям, которых знали уже). Иным предлагали проехать в ссылку – о, ненадолго, годика на два, на три. А то ещё мягче: только получить минус (столько-то городов), выбрать самому себе местожитительство, но уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикрепленно и ждать воли ГПУ.

Операция эта растянулась на многие годы, потому что главным условием её была тишина и незамечаемость. Важно было неукоснительно очищать Москву, Петроград, порты, промышленные центры, а потом просто уезды от всех иных видов социалистов. Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам, очертания которого мы можем оценить только теперь. Чей-то дальновидный ум это спланировал, чьи-то

аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбившую три года в одной кучке, и мягко перекладывали её в другую кучку. Тот, кто посидел в центре, – переводился в ссылку (и куда-нибудь подальше), кто отбыл «минус» – в ссылку же (но за пределами видимости от «минуса»), из ссылки – в ссылку, потом снова в централ (уже другой); терпение и терпение господствовало у раскладывающих пасьянс. И без шума, без вопля постепенно затеривались инопартийные, роняли всякие связи с местами и людьми, где прежде знали их и их революционную деятельность, – и так незаметно и неуклонно подготовлялось уничтожение тех, кто когда-то бушевал на студенческих митингах, кто гордо позванивал царскими кандалами. (Короленко писал Горькому 29.6.1921: «История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский режим». О, если бы только так! – они бы все выжили.)

В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых политкаторжан, ибо именно эсеры и анархисты, а не социал-демократы получали от царских судов самые суровые приговоры, именно они и составляли население старой каторги.

Очередность уничтожения была, однако, справедлива: в 20-е годы им предлагалось подписать письменные отречения от своих партий и партийной идеологии. Некоторые отказывались – и так, естественно, попадали в первую очередь уничтожения, другие давали такие отречения – и тем прибавляли себе несколько лет жизни. Но неумолимо натекала и их очередь, и неумолимо сваливалась с плеч и их голова.

Весной 1922 года Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переименованная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести ещё и «церковную революцию» – сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был

патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве – распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде – митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой – протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору.

Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова, серебряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком этапе.

Попадали с ранних 20-х годов и группы теософов, мистиков, спиритов (группа графа Палена вела протоколы разговоров с духами), религиозные общества, философы бердяевского кружка. Мимоходом были разгромлены и пересажены «восточные католики» (последователи Владимира Соловьёва), группа А. И. Абрикосовой. Как-то уж сами собой садились и просто католики – польские ксёндзы.

Однако коренное уничтожение религии в этой стране, все 20-е и 30-е годы бывшее одной из важных целей ГПУ-НКВД, могло быть достигнуто только массовыми посадками самих верующих православных. Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так зачернявшие прежнюю русскую жизнь. Арестовывали и судили церковные активы. Круги всё расширялись – и вот уже гребли просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже прозвали монашками.

Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как написала Таня Ходкевич:

Молиться можешь ты свободно,

Но... так, чтоб слышал Бог один.

(За это стихотворение она получила десять лет.) Человек, верящий, что он обладает духовной истиной, должен скрывать её от... своих детей!! Религиозное воспитание детей стало в 20-е годы квалифицироваться как 58-10, то есть

контрреволюционная агитация! Правда, на суде ещё давали возможность отречься от религии. Нечасто, но бывало так, что отец отрекался и оставался растить детей, а мать семейства шла на Соловки (все эти десятилетия женщины проявляли в вере большую стойкость). Всем религиозным давали десятку, высший тогда срок.

(Очищая крупные города для наступающего чистого общества, в те же годы, особенно в 1927, вперемешку с «монашками» слали на Соловки и проституток. Любительницам грешной земной жизни, им давали лёгкую статью и по три года. Обстановка этапов, пересылок, самих Соловков не мешала им зарабатывать своим весёлым промыслом и у начальства, и у конвойных солдат и с тяжёлыми чемоданами через три года возвращаться в исходную точку. Религиозным же закрыто было когда-нибудь вернуться к детям и на родину.)

Уже в ранние 20-е годы появились и потоки чисто национальные – пока ещё небольшие для своих окраин, а уж тем более по русским меркам: мусаватистов из Азербайджана, дашнаков из Армении, грузинских меньшевиков и туркменов-«басмачей», сопротивлявшихся установлению в Средней Азии советской власти. В 1926 году было полностью пересажено сионистское общество «Гехалуц», не сумевшее подняться до всеувлекающего порыва интернационализма.

Среди многих последующих поколений утвердилось представление о 20-х годах как о некоем разгуле ничем не стеснённой свободы. В этой книге мы ещё встретимся с людьми, кто воспринимал 20-е годы иначе. Безпартийное студенчество в это время билось за «автономию высшей школы», за право схода, за освобождение программы от избытка политграмоты. Ответом были аресты. Они усилились к праздникам (например, к 1 мая 1924). В 1925 ленинградские студенты (числом около сотни) все получили по три года политизолятора за чтение «Социалистического вестника» и штудирование Плеханова (сам Плеханов во времена своей юности за выступление против правительства у Казанского собора отделался много дешевле). В 25-м году уже начали сажать и самых первых (молоденьких) троцкистов. (Два наивных красноармейца, вспомнив русскую традицию, стали собирать средства на арестованных троцкистов – получили тоже политизолятор.)

Уж разумеется, не были обойдены ударом и эксплуататорские классы. Все 20-е годы продолжалось выматывание ещё уцелевших бывших офицеров: и белых (но не заслуживших расстрела в Гражданскую войну), и бело-красных, по воевавшим там и здесь, и царско-красных, но которые не всё время служили в Красной

армии или имели перерывы, не удостоверенные бумагами. Выматывали – потому что сроки им давали не сразу, а проходили они – тоже пасьянс! – бесконечные проверки, их ограничивали в работе, в жительство, задерживали, отпускали, снова задерживали, – лишь постепенно они уходили в лагеря, чтобы больше оттуда не вернуться.

Однако отправкой на Архипелаг офицеров решение проблемы не заканчивалось, а только начиналось: ведь оставались матери офицеров, жёны и дети. Пользуясь непогрешимым социальным анализом, легко было представить, что у них за настроение после ареста глав семей. Тем самым они просто вынуждали сажать и их! И льётся ещё этот поток.

В 20-е годы была амнистия казакам, участникам Гражданской войны. С Лемноса многие вернулись на Кубань и на Дон, получали землю. Позже все были посажены.

Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники. Они умело маскировались, они пользовались тем, что ни паспортной системы, ни единых трудовых книжек ещё не было в Республике, – и пролезали в советские учреждения. Тут помогали обмолвки, случайные узнавания, соседские доносы... то бишь боевые донесения. (Иногда – и чистый случай. Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех бывших губернских юридических работников. В 1925 случайно это у него обнаружили – всех взяли – и всех расстреляли.)

Так лились потоки «за сокрытие соцпроисхождения», за «бывшее соцположение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и личных дворян, то есть попросту – окончивших когда-то университет. А уж взят – пути назад нет, сделанного не воротишь. Часовой Революции не ошибается.

(Нет, всё-таки есть пути назад! – это тонкие, тощие противопотоки – но иногда они пробиваются. И первый из них упомянем здесь. Среди дворянских и офицерских жён и дочерей не в редкость были женщины выдающихся личных качеств и привлекательной наружности. Некоторые из них сумели пробиться небольшим обратным потоком – встречным! Это были те, кто помнил, что жизнь даётся нам один только раз и ничего нет дороже нашей жизни. Они предложили себя ЧК-ГПУ как осведомительницы, как сотрудницы, как кто угодно – и те, кто понравились, были приняты. Это были плодотворнейшие из осведомителей! Они

много помогли ГПУ, им очень верили «бывшие». Здесь называют последнюю княгиню Вяземскую, виднейшую послереволюционную стукачку (стукачом был и сын её на Соловках); Конкордию Николаевну Иоссе – женщину, видимо, блестящих качеств: мужа её, офицера, при ней расстреляли, самую сослали в Соловки, но она сумела выпроситься назад и вблизи Большой Лубянки вести салон, который любили посещать крупные деятели этого Дома. Вновь посажена она была только в 1937, со своими ягодинскими клиентами.)

Смешно сказать, но по нелепой традиции сохранялся от старой России Политический Красный Крест. Три отделения было: Московское (Е. Пешкова), Харьковское (Сандомирская) и Петроградское. Московское вело себя прилично – и до 1937 не было разогнано. Петроградское же (старый народник Шевцов, хромой Гартман, Кочаровский) держалось несносно, нагло, ввязывалось в политические дела, искало поддержки старых шлиссельбуржцев (Новорусский, одноделец Александра Ульянова) и помогало не только социалистам, но и каэрам – контрреволюционерам. В 1926 оно было закрыто и деятели его отправлены в ссылку.

Годы идут, и неосвежаемое всё стирается из нашей памяти. В обёрнутой дали 1927 год воспринимается нами как безпечный сытый год ещё необрубленного НЭПа. А был он – напряжённый, содрогался от газетных взрывов и воспринимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийству советского полпреда в Варшаве, залившему целые полосы июньских газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения.

Но вот незадача: Польша приносит извинения, единичный убийца Войкова[17 - Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод П. Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла).] арестован там, – как же и над кем же выполнить призыв поэта:

Спайкой,

стройкой,

выдержкой

и расправой

Спущенной своре

шею сверни!

С кем же расправиться? кому свернуть шею? Вот тут-то и начинается войковский набор. Как всегда, при всяких волнениях и напряжениях сажают бывших, сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию. В самом деле – кого же сажать в городах? Не рабочий же класс! Но интеллигенцию «околокадетскую» и без того хорошо перетрясли ещё с 1919 года. Так не пришла ли пора потрясти интеллигенцию, которая изображает себя передовой? Перелистать студенчество. Тут и Маяковский опять под руку:

Думай

о комсомоле

дни и недели!

Ряды

свои

оглядывай зорче.

Все ли

комсомольцы

на самом деле

Или

только

комсомольца корчат?

Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: социальная профилактика. Он введен, он принят, он сразу всем понятен. (Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: «Я верю, что лично вы ни в чём не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика!») В самом деле, ненадёжных попутчиков, всю эту интеллигентскую шать и гниль – когда же сажать, если не в канун войны за мировую революцию? Когда большая война

начнётся – уже будет поздно.

И в Москве начинается планомерная проскрёбка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. Лозунг: «Мы так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнётся от ужаса!» К Лубянке, к Бутыркам устремляются даже днём воронки, легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгрузить и регистрировать. (Это – и в других городах. В Ростове-на-Дону в подвале Тридцать Третьего Дома в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей Бойко еле находится место сесть.)

Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай по сколько-то копеек они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка – прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают всех, дают от трёх до десяти лет (Анне Скрипниковой – пять), а несознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Варенцов и другие) – расстреливают!

Или, в том же году, где-то в Париже собираются лицеисты-эмигранты отметить традиционный «пушкинский» лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это – затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются все лицеисты, ещё оставшиеся в СССР, а заодно – и «правоведы» (другое такое же привилегированное училище).

Только размерами СЛОНа – Соловецкого Лагеря Особого Назначения – ещё пока умеряется объём войковского набора. Но уже начал свою злокачественную жизнь Архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлёт метастазы по всему телу страны.

Отведен новый вкус, и возник новый аппетит. Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на лету.

То есть мы никогда инженера?м и не доверяли – этих лакеев и прислужников бывших капиталистических хозяев мы с первых же лет Революции взяли под здоровое рабочее недоверие и контроль. Однако в восстановительный период мы всё же допускали их работать в нашей промышленности, всю силу

классового удара направляя на интеллигенцию прочую. Но чем больше зрело наше хозяйственное руководство, ВСНХ и Госплан, и увеличивалось число планов, и планы эти сталкивались и вышибали друг друга – тем ясней становилась вредительская сущность старого инженерства, его неискренность, хитрость и продажность. Часовой Революции прищурился зорче – и куда только он направлял свой прищур, там сейчас же и обнаруживалось гнездо вредительства.

Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года и сразу въявь показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостатков. НКПС (железные дороги) – вредительство (вот и трудно на поезд попасть, вот и перебои в доставке). МОГЭС – вредительство (перебои со светом). Нефтяная промышленность – вредительство (керосина не достанешь). Текстильная – вредительство (не во что одеться рабочему человеку). Угольная – колоссальное вредительство (вот почему мёрзнем)! Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, химическая, горнорудная, золотоплатинная, ирригация – всюду гнойные нарывы вредительства! со всех сторон – враги с логарифмическими линейками! ГПУ запыхалось хватать и таскать вредителей. В столицах и в провинции работали коллегии ОГПУ и пролетарские суды, проворачивая эту тягучую нечисть, и об их новых мерзостных делишках каждый день, ахая, узнавали (а то и не узнавали) из газет трудящиеся. Узнавали о Пальчинском, фон Мекке, Величко[18 - А. Ф. Величко, инженер-путеец. Окончил Археологический институт, Институт инженеров путей сообщения. Старший инспектор НКПС. Погиб в тюрьме. Ох как пригодился бы в 1941!], а сколько было безымянных. Каждая отрасль, каждая фабрика и кустарная артель должны были искать у себя вредительство и, едва начинали, – тут же и находили (с помощью ГПУ). Если какой инженер дореволюционного выпуска и не был ещё разоблачённым предателем, то наверняка можно было его в этом подозревать.

И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по-разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжелогруженных. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён (и расстрелян): он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить Республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же, малое время спустя, новый Наркомпути товарищ Каганович распорядился пускать именно тяжелогруженные составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые

(и за это открытие он и другие руководители получили ордена Ленина), – то злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков – они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта.

Этих предельщиков бьют несколько лет, они – во всех отраслях, трясут своими расчётными формулами и не хотят понять, как мостам и станкам помогает энтузиазм персонала. (Это годы изворота всей народной психологии: высмеивается оглядчивая народная мудрость, что быстро хорошо не бывает, и выворачивается старинная поговорка «тише едешь...».) Что только задерживает иногда арест старых инженеров – это неготовность смены. Николай Иванович Ладыженский, главный инженер военных ижевских заводов, сперва арестовывается за «предельные теории», за «слепую веру в запас прочности», исходя из какой, считал недостаточными суммы, подписанные Орджоникидзе для расширения заводов. (А Орджоникидзе, рассказывают, разговаривал со старыми инженерами так: клал на письменный стол по пистолету справа и слева.) Но затем его переводят под домашний арест – и велят работать на прежнем месте (дело без него разваливается). Он налаживает. Но суммы как были недостаточны, так и остались – и вот теперь-то его снова в тюрьму «за неправильное использование сумм»: потому и не хватило их, что главный инженер плохо ими распоряжался! В один год Ладыженский умирает на лесоповале.

Так в несколько лет сломали хребет старой русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героям Гарина-Михайловского и Замятина.

Само собой, что и в этот поток, как во всякий, прихватываются и другие люди, близкие и связанные с обречёнными, например и... не хотелось бы запятнать светлобронзовый лик Часового, но приходится... и несостоявшиеся осведомители. Этот вовсе секретный, никак публично не проявленный поток мы просили бы читателя всё время удерживать в памяти – особенно для первого послереволюционного десятилетия: тогда люди ещё бывали горды, у многих ещё не было понятия, что нравственность – относительна, имеет лишь узкоклассовый смысл, – и люди смели отказываться от предлагаемой службы, и всех их карали без пощады. Как раз вот за кругом инженеров предложили следить молоденькой Магдалине Эджуговой, а она не только отказалась, но рассказала своему опекуну (за ним же надо было и следить): однако тот всё равно был вскоре взят и на следствии во всём признался. Беременную Эджугову

«за разглашение оперативной тайны» арестовали и приговорили к расстрелу. (Впрочем, она отделалась 25-летней цепью нескольких сроков.) В те же годы (1927), хоть в совсем другом кругу – среди видных харьковских коммунистов, так же отказалась следить и доносить на членов украинского правительства Надежда Витальевна Суровцева – за то была схвачена в ГПУ и только через четверть столетия, еле живую, выбарахталась на Колыме. А кто не всплыл – о тех мы и не знаем.

(В 30-е годы этот поток непокорных сходит к нулю: раз требуют осведомлять, значит, надо – куда ж денешься? «Плетью обуха не перешибёшь». «Не я – так другой». «Лучше буду сексотом я, хороший, чем другой, плохой». Впрочем, тут уже добровольцы прут в сексоты, не отобьёшься: и выгодно, и доблестно.)

В 1928 году в Москве слушается громкое Шахтинское дело – громкое по публичности, которую ему придают, по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых (ещё пока не всех). Через два года, в сентябре 1930, с треском судятся организаторы голода (они! они! вот они!) – 48 вредителей в пищевой промышленности. В конце 1930 проводится ещё громче и уже безукоризненно отрететированный процесс Промпартии: тут уже все подсудимые до единого взваливают на себя любую омерзительную чушь – и вот перед глазами трудящихся, как монумент, освобождённый от покрывала, восстаёт грандиозное хитроумное сплетение всех отдельных донине разоблачённых вредительств в единый дьявольский узел с Милюковым, Рябушинским, Детердингом и Пуанкаре.

Уже начиная вникать в нашу судебную практику, мы понимаем, что общеизвестные судебные процессы – это только наружные кротовые кучи, а всё главное копанье идёт под поверхность. На эти процессы выводится лишь небольшая доля посаженных, лишь те, кто соглашается противоестественно оговаривать себя и других в надежде на послабление. Большинство же инженеров, кто имел мужество и разум отвергнуть следовательскую несурязицу, – те судятся неслышно, но лепятся и им – несознавшимися – те же десятки от коллегии ГПУ.

Потоки льются под землёю, по трубам, они канализируют поверхностную цветущую жизнь.

Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в канализации, ко всенародному распределению ответственности за неё: те, кто своими телами ещё не грохнулись в канализационные люки, кого ещё не

понесли трубы на Архипелаг, – те должны ходить поверху со знамёнами, славить суды и радоваться судебным расправам. (Это предусмотрительно! – пройдут десятилетия, история очнётся – но следователи, судьи и прокуроры не окажутся более виноваты, чем мы с вами, сограждане! Потому-то мы и убелены благопристойными сединами, что в своё время благопристойно голосовали за.)

Если не считать ленинско-троцкого эксперимента при процессе эсеров в 1922 году, то Сталин начал такие пробы с организаторов голода, – и ещё бы пробе не удалось, когда все оголодали на обильной Руси, когда все только и озираются: куда ж наш хлебушка запропастился? И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служащие гневно голосуют за смертную казнь негодьям подсудимым. А уже к Промпартии – это всеобщие митинги, это демонстрации (с прихватом и школьников), это печатный шаг миллионов и рёв за стёклами судебного здания: «Смерти! Смерти! Смерти!»

На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания – очень, очень много мужества надо было в том хоре и рёве, чтобы сказать «нет!» – несравнимо с сегодняшнею лёгкостью! (А и сегодня не очень-то возражают.) На собрании ленинградского Политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский воздержался (он, видите, вообще противник смертной казни, это, видите ли, на языке науки необратимый процесс) – и тут же посажен! Студент Дима Олицкий – воздержался, и тут же посажен! И все эти протесты заглохли при самом начале.

Сколько знаем мы, седоусый рабочий класс одобрял эти казни. Сколько знаем мы, от пылающих комсомольцев и до партийных вождей и до легендарных командармов – весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теоретики и провидцы, за семь лет до своей безславной гибели приветствовали тот рёв толпы, не догадываясь, что при пороге их время, что скоро и их имена поволокнут в этом рёве – «нечистью» и «мразью».

А для инженеров как раз тут вскоре разгром и кончался. Летом 1931 года вымолвил Иосиф Виссарионович «Шесть условий» строительства, и угодно было Его Единодержавию пятым условием указать: от политики разгрома старой технической интеллигенции – к политике привлечения и заботы о ней.

И заботы о ней! И куда испарился наш справедливый гнев? И куда отделились все наши грозные обвинения? Проходил тут как раз процесс вредителей в

фарфоровой промышленности (и там нашкодили!) – и уже дружно все подсудимые поносили себя и во всём сознавались – и вдруг так же дружно воскликнули: невиновны!! И их освободили!

(Даже наметился в том году маленький антипоток: уже засуженных или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и Д. А. Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным? Что граждански мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги?)

Давно опрокинутых навзничь меньшевиков ещё покопытил в марте 1931 Сталин в публичном процессе «Союзного Бюро меньшевиков», Громан – Суханов – Якубович (Громан – скорее кадет, Якубович почти большевик, а Гиммер-Суханов – тот самый, теоретик Февраля, на квартире которого в Петрограде на набережной Карповки 10 октября 1917 собрался большевицкий ЦК и принял решение о вооружённом восстании). И вдруг – задумался.

Беломорцы так говорят о приливе – вода задумалась: это перед тем, как пойти на спад. Ну негоже сравнивать мутную душу Сталина с водой Белого моря. Да может быть он несколько и не задумался. Да и спада никакого не было. Но ещё одно чудо в том году произошло. Вслед за процессом Промышленной Партии готовился в 1931 году грандиозный процесс Трудовой Крестьянской Партии – якобы (никогда не!) существовавшей огромной подпольной организованной силы из сельской интеллигенции, из деятелей потребительской и сельскохозяйственной кооперации и развитой верхушки крестьянства, готовившей свержение диктатуры пролетариата. На процессе Промпартии эту ТКП уже поминали как прихваченную, как хорошо известную. Следственный аппарат ГПУ работал безотказно: уже тысячи обвиняемых полностью сознались в принадлежности к ТКП и в своих преступных целях. А всего было обещано «членов» – двести тысяч. «Во главе» партии значились экономист-аграрник Александр Васильевич Чаянов; будущий «премьер-министр» Н. Д. Кондратьев; Л. Н. Юровский; Макаров; Алексей Дояренко, профессор из Тимирязевки, – будущий «министр сельского хозяйства».

И вдруг в одну прекрасную ночь Сталин передумал – почему, мы этого, может быть, никогда не узнаем. Захотел он душеньку отмаливать? – так рано. Пробыло чувство юмора, что уж больно однообразно, оскомина? – так никто не посмеет попрекнуть, что у Сталина было чувство юмора. А вот что скорей: прикинул он, что скоро вся деревня и так будет от голода вымирать, и не двести тысяч, так нечего и трудиться. И вот была отменена вся ТКП, всем «сознавшимся» предложили отказаться от сделанных признаний (можно себе вообразить их радость!) и вместо этого засудили внесудебным порядком, через коллегия ОГПУ, небольшую группу Кондратьева – Чаянова[19 - Приговорённые в 1932 к 8 годам концлагеря, Кондратьев и Юровский отбывали срок в Суздальском политизоляторе. Больной Юровский выпущен в конце 1934. Оба расстреляны в 1938. Получивший 5 лет Чаянов в 1933 выслан в Алма-Ату, где в 1937 расстрелян. – Примеч. ред.]. (А в 1941 году измученного Вавилова обвинят, что ТКП – была, и он-то, Вавилов, тайно её и возглавлял.)

Теснятся абзацы, теснятся года – и никак нам не выговорить всего по порядку, что было (а ГПУ отлично справлялось! а ГПУ ничего не упускало!). Но будем всё время помнить:

– что верующих сажают непрерывно, само собою. (Тут выплывают какие-то даты и пики. То «ночь борьбы с религией» в рождественский сочельник 1929 в Ленинграде, когда посадили много религиозной интеллигенции, и не до утра, не в виде рождественской сказки. То там же в феврале 1932 закрытие многих сразу церквей и одновременно густые аресты духовенства. А ещё больше дат и мест – никем до нас не донесено);

– что не упускают громить и секты, даже сочувственные коммунизму. Так в 1929 посадили всех сплошь членов коммуны между Сочи и Хостой. Всё у них было по-коммунистически – и производство, и распределение, и всё так честно, как страна не достигнет и за сто лет, но, увы, слишком они были грамотны, начитанны в религиозной литературе, и не безбожие было их философией, а смесь баптизма, толстовства и йоговства. Стало быть, такая коммуна была преступна и не могла принести народу счастья. В 20-е же годы значительная группа толстовцев была сослана в предгорья Алтая, там они создали посёлки-коммуны совместно с баптистами. Когда началось строительство Кузнецкого комбината, они снабжали его продуктами. Затем начали арестовывать – сперва учителей (учили не по государственным программам), дети с криком бежали за машинами, затем – руководителей общин;

- что как-то же расчистили (и не всех воспитанием, а кого и свинцом) те тучи безпризорной молодёжи, какая в 20-е годы осаждала городские асфальтные котлы, а с 1930 года вся исчезла вдруг;
- что не упускаются случаи недозволенного милосердия (за собиранье в цеху денег для жены заключённого рабочего – арест);
- что Большой Пасьянс социалистов переключается непрерывно, само собой;
- что с 1929 сажают не сосланных вовремя за границу историков (Платонов, Тарле, Любавский, Готье, Измайлов), выдающегося литературоведа М. М. Бахтина, молодого тогда Лихачёва;
- что текут и национальности то с одной окраины, то с другой.

Сажают якутов после восстания 1928 года. Сажают бурят-монголов после восстания 1929 года. (Расстреляно, как говорят, около 35 тысяч. Проверить нам не дано.) Сажают казахов после героического подавления их конницей Будённого в 1930–31 годах. Судят в начале 1930 Союз освобождения Украины (профессор Ефремов, Чеховский, Никовский и другие), а, зная наши пропорции объявляемого и тайного, – сколько там ещё за их спинами? сколько там негласно?..

И подходит, медленно, но подходит, очередь садиться в тюрьму членам правящей партии! Пока (1927–29) это – «рабочая оппозиция» или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока – сотни, скоро будут – тысячи. Но лиха беда начало. Как эти троцкисты спокойно смотрели на посадки инопартийных, так сейчас остальная партия одобрительно взирает на посадку троцкистов. Всем свой черёд. Дальше потечёт несуществующая «правая» оппозиция. Членик за члеником прожевав с хвоста, доберётся пасть и до собственной головы.

С 1928 же года приходит пора рассчитывать с буржуазными последышами – нэпманами. Чаще всего им приносят всё возрастающие и уже непосильные налоги, с какого-то раза они отказываются платить, и тут их сажают за несостоятельность и конфискуют имущество. (Мелких кустарей – парикмахеров, портных, да тех, кто чинит примусы, только лишают патента.)

В развитии нэпманского потока есть свой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото, а Колымы ещё нет никакой. С конца 1929 начинается знаменитая золотая лихорадка, только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового «золотого» потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чём не винит и готово не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильного. Поэтому забиты тюрьмы, изнемогают следователи, а пересылки, этапы и лагеря получают непропорционально меньшее пополнение.

Кого сажают в «золотом» потоке? Всех, кто когда-то, 15 лет назад, имел «дело», торговал, зарабатывал ремеслом и мог бы, по соображениям ГПУ, сохранить золото. Но как раз у них очень часто золота и не оказывалось: держали имущество в движимости, в недвижимости, всё это сгнуло, отобрано в революцию, не осталось ничего. С большой надеждой сажаются, конечно, зубные техники, ювелиры, часовщики. О золоте в самых неожиданных руках можно узнать по доносу: стопроцентный «рабочий от станка» откуда-то взял и хранит шестьдесят николаевских золотых пятёрок; известный сибирский партизан Муравьёв приехал в Одессу и привёз с собой мешочек с золотом (наградил в Гражданскую войну); у петербургских татар извозчиков ломовых у всех спрятано золото. Так это или не так – разобраться можно только в застенках. Уж ничем – ни пролетарской сущностью, ни революционными заслугами не может защититься тот, на кого пала тень золотого доноса. Все они арестуются, все напихиваются в камеры ГПУ в количествах, которые до сих пор не представлялись возможными, – но тем лучше, скорей отдадут! Доходит до конфузного, что женщины и мужчины сидят в одних камерах и друг при друге ходят на парашу – кому до этих мелочей, отдайте золото, гады! Следователи не пишут протоколов, потому что бумажка эта никому не нужна, и будет ли потом намотан срок или не будет, это мало кого интересует, важно одно: отдай золото, гад! Государству нужно золото, а тебе зачем? У следователей уже не хватает ни горла, ни сил на угрозы и пытки, но есть общий приём: кормить камеры одним солёным, а воды не давать. Кто золото сдаст – тот выпьет воды! Червонец за кружку чистой воды!

Люди гибнут за металл...

От потоков предшествующих, от потоков последующих этот отличается тем, что хоть не у половины, но у части этого потока своя судьба трепыхается в собственных руках. Если у тебя на самом деле золота нет – твоё положение безвыходно, тебя будут бить, жечь, пытать и выпаривать до смерти или пока уж

действительно не поверят. Но если у тебя золото есть, то ты сам определяешь меру пытки, меру выдержки и свою будущую судьбу. Психологически это, впрочем, не легче, это тяжелей, потому что ошибёшься – и навсегда будешь виноват перед собой. Конечно, тот, кто уже усвоил нравы сего учреждения, уступит и отдаст, это легче. Но и слишком легко отдавать нельзя: не поверят, что отдал сполна, будут ещё держать. Но и слишком поздно отдать нельзя: душеньку выпустишь, или со зла влепят срок. Один из тех татар извозчиков выдержал все пытки: золота нет! Тогда посадили и жену, и её мучили, татарин своё: золота нет! Посадили и дочь – не выдержал татарин, сдал сто тысяч рублей. Тогда семью выпустили, а ему врезали срок. – Самые аляповатые детективы и оперы о разбойниках серьёзно осуществились в объёме великого государства.

Введение паспортной системы на пороге 30-х годов тоже дало изрядное пополнение лагерям. Как Пётр I упрощал строение народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и наша социалистическая паспортная система: она выметала именно промежуточных насекомых, она настигала хитрую, бездомную и ни к чему не приставленную часть населения. Да поперву и ошибались люди много с теми паспортами – и непрописанные, и невыписанные подгребались на Архипелаг, хоть на годок.

Так пузырились и хлестали потоки – но через всех перекатился и хлынул в 1929–30 годах многомиллионный поток раскулаченных. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем (к тому ж забитая «золотым» потоком), но он миновал её, он сразу шёл на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Своей единовременной набухлостью этот поток (этот океан!) выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ – ГУЛАГа, что города ничего б и не заметили! – если б не потрясший их трёхлетний странный голод – голод без засухи и без войны.

Поток этот отличался от всех предыдущих ещё и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьёй. Напротив, здесь сразу выжигали только гнёздами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не отбил бы в сторону: все наподскрёб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был первый такой опыт, во всяком случае в Новой

истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями.)

Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех «кулаков», по которым назван был для отвода глаз. «Кулаком» называется по-русски прижимистый безчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до революции-то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем, уже после 17-го года, по переносу значения «кулаками» стали называть (в официальной и агитационной литературе, отсюда вошло и в устный обиход) тех, кто вообще использует труд наёмных рабочих, хотя бы по временным недостаткам своей семьи. Но не упустим из виду, что после революции за всякий такой труд невозможно было не уплатить густо – на страже батраков стояли комбед и сельсовет, попробовал бы кто-нибудь обидеть батрака! Справедливый же наём труда допускается в нашей стране и сейчас.

Но раздувание хлётского термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян – крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы разmozжить в крестьянстве крепость. Вспомним, очнёмся: лишь двенадцать лет прошло с великого Декрета о Земле – того самого, без которого крестьянство не пошло бы за большевиками и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едокам, равно. Всего лишь девять лет, как мужики вернулись из Красной армии и накинулись на свою завоёванную землю. И вдруг – кулаки, бедняки. Откуда это? Иногда – от неравенства инвентаря, иногда – от счастливого или несчастливого состава семьи. Но не больше ли всего – от трудолюбия и упорства? И вот теперь-то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 1928 году, бросились искоренять свои местные неудачники и приезжие городские люди. Как озверев, потеряв всякое представление о «человечестве», потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, – лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу.

Такое массовое движение не могло не осложниться. Надо было освободить деревню также и от тех крестьян, кто просто проявлял неохоту идти в колхоз, несклонность к коллективной жизни, которой они не видели в глаза и о которой подозревали (мы теперь знаем, как основательно), что это будет руководство бездельников, принудилровка и голодаловка. Нужно было освободиться и от тех крестьян (иногда совсем небогатых), кто за свою удачу, физическую силу,

решимость, звонкость на сходках, любовь к справедливости были любимы односельчанами, а по своей независимости – опасны для колхозного руководства. (Этот крестьянский тип и судьба его бессмертно представлены Степаном Чаусовым в повести С. Залыгина.) И ещё в каждой деревне были такие, кто лично стал поперёк дороги здешним активистам. По ревности, по зависти, по обиде был теперь самый удобный случай с ними рассчитаться. Для всех этих жертв требовалось новое слово – и оно родилось. В нём уже не было ничего «социального», экономического, но оно звучало великолепно: подкулачник. То есть я считаю, что ты – пособник врага. И хватит того! Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в подкулачники! (Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным, ничего неясного.)

Так охвачены были двумя словами все те, кто составлял суть деревни, её энергию, её смекалку и трудолюбие, её сопротивление и совесть. Их вывезли – и коллективизация была проведена.

Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки:

– поток вредителей сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками (разумеется, по указаниям московского института, ныне полностью разоблачённого. Да это же и есть те самые непосаженные двести тысяч членов ТКП!). Одни агрономы не выполняют глубокоумных директив Лысенко (в таком потоке в 1931 отправлен в Казахстан «король» картофеля Лорх). Другие выполняют их слишком точно и тем обнажают их глупость. (В 1934 псковские агрономы посеяли лён по снегу – точно как велел Лысенко. Семена набухли, за плесневели и погибли. Обширные поля пропустовали год. Лысенко не мог сказать, что снег – кулак или что сам дурак. Он обвинил, что агрономы – кулаки и извратили его технологию. И потянулись агрономы в Сибирь.) А ещё почти во всех МТС обнаружено вредительство в ремонте тракторов (вот чем объяснялись неудачи первых колхозных лет!);

Конец ознакомительного фрагмента.

Примечания

1

Этот (ещё расширенный) перечень свидетелей впервые оглашаю теперь. – Примеч. 2005 г.

2

Рассказал уже и о них, моих Невидимках («Бодался телёнок с дубом». М.: Согласие, 1996). – Примеч. 2005 г.

3

Когда в 1937 громили институт доктора Казакова, то сосуды с лизатами, изобретенными им, «комиссия» разбивала, хотя вокруг прыгали исцелённые и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства. (По официальной версии, лизаты считались ядами – и отчего ж было не сохранить их как вещественные доказательства?)

4

И вот удивительно: человеком всё-таки можно быть! – Травкин не пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он – генерал в отставке и ревизор в Союзе охотников.

5

Вестник Отдела местного управления Комиссариата внутренних дел: Журн. ВЦИК. М., 1917, № 1, с. 4.

6

В. И. Ленин. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М.: Гос. изд-во политич. лит., 1958-1965. Т. 35, с. 68.

7

Там же, с. 204.

8

Там же, с. 203.

9

Вестник НКВД: Журн. ВЦИК. М., 1918, № 21-22, с. 1.

10

Декреты советской власти. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1968, с. 627.

11

М. И. Лацис (Я. Ф. Судрабс). Два года борьбы на внутреннем фронте: Популярный обзор двухгодичной деятельности чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. М.: Гос. изд-во, 1920, с. 61. – (Речи и беседы агитатора, № 9.)

12

В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 51, с. 48.

13

Там же, с. 47.

14

Там же, с. 48.

15

Там же, с. 49.

16

М. Тухачевский. Борьба с контрреволюционными восстаниями // Война и революция. М.: Война и техника, 1926. Кн. 8, с. 10, 11.

17

Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод П. Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла).

18

А. Ф. Величко, инженер-путеец. Окончил Археологический институт, Институт инженеров путей сообщения. Старший инспектор НКПС. Погиб в тюрьме. Ох как пригодился бы в 1941!

19

Приговорённые в 1932 к 8 годам концлагеря, Кондратьев и Юровский отбывали срок в Суздальском политизоляторе. Больной Юровский выпущен в конце 1934. Оба расстреляны в 1938. Получивший 5 лет Чаянов в 1933 выслан в Алма-Ату, где в 1937 расстрелян. – Примеч. ред.

Купити: [https://tn.knigapoisk.com/aleksandr-solzhenicyn/arhipelag-gulag-kniga_1-
kupit](https://tn.knigapoisk.com/aleksandr-solzhenicyn/arhipelag-gulag-kniga_1-
kupit)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)